

УДК 82-94
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
А 50

Аллилуева С. И.

А 50 Один год дочери Сталина / Светлана Аллилуева. — М. : Алгоритм, 2014. — 336 с. — (Наследие кремлевских вождей).

ISBN 978-5-4438-0767-6

Эта книга дочери Сталина, Светланы Аллилуевой, была написана в эмиграции и издана в США по-русски и в английском переводе в 1970 г. В центре мемуаров стоят политические проблемы и объяснение необъяснимого: как это случилось, что дочь всемогущего вождя решила бежать из России?

В книге приводятся многочисленные свидетельства «из первых рук» о частной жизни семьи вождя, даются подробные характеристики Сталина и его ближайшего окружения.

УДК 82-94
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-4438-0767-6

© Аллилуева С., 2014
© ООО «Издательство «Алгоритм», 2014

*Всем новым друзьям,
которым я обязана своей
свободной жизнью*

I. РЕШЕНИЕ

Последний день в СССР

Я не думала 19 декабря 1966 года, что это будет мой последний день в Москве и в России. И уж, конечно, этого не предполагали мой сын Ося, его жена Леночка, моя Катя и никто из друзей, зашедших в этот день повидать меня перед отъездом.

День был очень холодным. Мороз 15 градусов по Цельсию к вечеру дошел до 20, шел снег, началась метель. Самолет должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в час ночи, но, сколько я ни звонила диспетчеру, никто толком не знал, будет ли летной такая погода. Казалось, что Москва не хотела отпускать меня. Друзья и знакомые звонили и спрашивали: «Правда ли? Правда, что ты сегодня улетаешь?» И я в сотый раз повторяла им одно и то же.

Это было, действительно, невероятным, что мне разрешили отвезти в Индию прах покойного мужа, поэтому многие не могли никак поверить, что я действительно улечу сегодня ночью.

Это была моя первая поездка за границу, не считая 10 дней, проведенных летом 1947 года, в гостях у брата, стоявшего с авиационным корпусом в Восточной Германии. Мне самой было как-то очень странно, хотя разрешение было получено еще месяц тому назад и за это время я могла бы спокойно собраться. Но я все еще не уложила большой, занятый у приятельницы, чемодан, плохо соображая, какую погоду встречу в Дели и что там носить. Второй чемоданчик, поменьше, был готов: там были многочисленные подарки индийским родственникам (мне объяснили, что без этого нельзя ехать), а также подарки от индийского филолога, д-ра Бахри, для его семьи в Аллахабаде.

Меня больше всего беспокоил саквояж, где находилась белая сумка поменьше, а в ней — небольшая фарфоровая урна с прахом... Я долго мучилась, не зная, как я повезу ее? Мне давали разные советы, но я чувствовала только, что должна держать ее где-то возле себя, рядом. Это было что-то почти живое, она казалась мне очень тяжелой. Это была некая таинственная часть меня самой.

С утра зашла моя давняя школьная подруга Аля. Мы вместе окончили десятилетку, вместе поступили в университет и окончили его по одинаковой специальности — новая история США. Даже выбор этой специальности был решен для нас обеих, отчасти Алей или скорее ее мамой, работавшей долгие годы старшим референтом по США в иностранном отделе «Правды». Алина мама хорошо знала английский язык, а ее сестра давно жила в Детройте.

Аля была тихая, синеглазая, одна из лучших учениц в классе и в университете. Она не умела сердиться, злиться, повышать голос. Но она была твердой в своих принципах, которые были доброта, честность, труд. Такими же были ее три дочери, с которыми она была как подруга, равная с равными.

С Алей было необыкновенно легко и просто говорить о чем угодно: она умела слушать и всегда хотела понять. Единственный раз только она не поняла меня — когда я сказала ей, что крестилась. Она понимала религиозное чувство, в ней самой было нечто такое, но она боялась церкви как социальной силы.

Вся ее семья знала Брэджеш Сингха. Ее дочь Таня со своим мужем, студентом-математиком, жила несколько месяцев в квартире Сингха, предоставленной ему издательством; ведь он жил у нас. Аля знала многих московских индийцев, она работала редактором в Издательстве восточной литературы.

Сейчас она пришла тихая и милая, как всегда, и мы пили кофе в кухне, самой главной комнате моей квартиры, где принимались лучшие друзья. В этот день пришли еще двое моих бывших одноклассников, Миша и Вера.

С Мишей мы учились вместе с восьмилетнего возраста. Он был, как и я, рыжий, в веснушках, и читал больше всех в классе. Мы обсуждали Жюль Верна и Фенимора Купера и современную научную фантастику. В 11 лет мы начали зачитываться Мопассаном, у каждого дома была большая родительская библиотека. Тогда же мы начали писать друг другу записки на уроках, на промокательной бумаге: «я тебя люблю!» и

целовались, когда представлялась такая редкая возможность. Вскоре у Миши арестовали родителей (они работали в крупном издательстве), а потом и тетку, врача. Моя гувернантка настояла в школе, чтобы Мишу перевели в другой класс, предъявив директору улики — наши записки на промокашках. Дружба прекратилась, мы лишь ненадолго встретились опять во время войны. Но много позже, после XX съезда, Миша разыскал мой телефон и позвонил: он беспокоился обо мне. Я сразу узнала его голос (в школе мы звонили друг другу почти каждый день), и с этого дня мы были снова друзьями. Он стал инженером-строителем, хотя с детства любил литературу и гуманитарные науки, и по-прежнему много читал. Добрый и сердечный, он знал о каждом из своих одноклассников: кто где работает, кто женился, у кого дети. Он умудрился никого не растерять из старых друзей и сохранил дружбу со многими из нашей школы. Меня он навещал раз в полгода, и мы обсуждали родительские проблемы. Своего младшего сына, певшего целыми днями, как соловей, он отдал в музыкальную школу, мечтая, что со временем из него получится Карузо. Старшая дочь, хорошенькая и нервная, причиняла ему много беспокойства. В этом году она заканчивала школу и неожиданно стала увлекаться историей Востока и Индии. Я отдала для нее в этот день свои любимые книги об Индии: «Автобиографию» и «Открытие Индии» Джавахарлала Неру.

Веру я знала с самого раннего детства, потому что ее мать была подругой моей мамы. Обе они дружили с талантливым педагогом Региной Гласе, от которой и шли в наш дом все воспитательные идеи и которой я, по существу, обязана моим интересным детством. Регина Гласе получила образование в Швейцарии, а в России работала с Шацким*. Моя мама, так верившая в просвещение, находилась под сильным влиянием Регины, с которой у нас в семье больше никто не находил общего языка: отец не выносил ее и ее «педагогических фокусов» и вскоре настоял, чтобы она перестала бывать у нас.

Но Регину любили в Вериной семье. Веру, еще при маме, приводили к нам в Зубалово, по соседству с которым она жила

* Известный русский педагог, следовавший «свободной школе» Толстого. Организовал школу для бедных крестьянских детей, учил их искусству. Переписывался с Рабиндранатом Тагором, много заимствовал из его педагогического опыта.

обычно летом в деревне. Туда меня водила моя няня, или же мы встречались в соседнем благоуханном сосновом бору.

Потом Вера училась в одной школе и в одном классе со мной, но здесь каждая из нас нашла своих подруг и разные интересы. Вера была прирожденный натуралист и поступила после школы на биологический факультет университета. Я же всегда любила литературу и гуманитарные науки.

Вере досталась нелегкая жизнь, но она была с детства подготовлена к самоотверженной работе, упорству и к полнейшей отдаче себя делу. Она увлеклась генетикой. Но в 1949 году, как раз когда она закончила Университет и могла бы начать самостоятельные исследования, эта наука в СССР была объявлена «идеалистической» и запрещена. Вере, как и многим генетикам, не захотевшим отказаться от своего призвания, пришлось продолжать исследования под «камуфляжем». Теперь, когда хромосомная теория «реабилитирована», оказалось, что годы не прошли даром. Вера теперь — один из ведущих генетиков в стране. Когда я уезжала, она заканчивала свою докторскую диссертацию (сейчас она, наверное, уже доктор биологии).

У Веры никогда не было семьи, хотя она, как никто, полна любви и заботы о других. Через день она носит обед 90-летней Регине, живущей недалеко от нее. Мы пытались устроить одинокую и полуослепшую Регину в дом для престарелых, но это оказалось нелегко: Регина не желала расставаться с самостоятельностью. Кроме того, она не могла жить без концертов в Консерватории, куда умудрялась доставать билеты на самые недоступные и редкие. Там мы с Верой и встречались в университетские годы, когда не было других поводов для встреч. Но за последнее время для нас обеих вдруг обрели значение те далекие годы детства, и мы снова потянулись друг к другу. Мои дети полюбили ее с первого же дня, когда она пришла и увидела их.

У нее был чудесный дар контакта с людьми, но не со всеми: она ничего не значила для тех, кто судит внешне, и для нее они были неинтересны. Ее нельзя было назвать ни хорошенькой, ни хорошо одетой. Внешне в ней было мало «западного», хотя в Париже, где она сделала сообщение о своей работе на французском языке, она всех очаровала. Внешне она принадлежала к классическому типу русской демократической интеллигенции прошлого века — лицо крестьянки, осве-

ценное изнутри светом интеллекта. Длинные русые волосы она укладывала в косу вокруг головы, черты лица ее крупные и не очень правильные, и вся она была коренастой, тяжелой кости, выносливой для работы в поле. Но какие у нее были глаза! Огромные, печальные, серые, как русское пасмурное небо, и, как это небо, незабываемые.

И когда Вера говорила, то все было значительно и важно, даже истории о ее кошке и канарейке, которые она рассказывала моей Кате.

С Верой всегда было грустно расставаться. Вся ее жизнь одинокой подвижницы несла на себе тень чистого и высокого трагизма. Ее никак нельзя было бы назвать несчастной или беспомощной, но о ней постоянно болела душа, как об алмазе, мимо которого торопливо пробегают люди, не замечая его среди булыжников.

Звонили многие, с кем я работала в Институте мировой литературы (ИМЛИ). Лиза спросила только: «Правда ли?» — и потом была долгая пауза. Лена расспрашивала о подробностях: «Неужели меня пустили одну? Смогу ли я поехать по Индии? Что я с собой возьму?» Были неприятны эти расспросы и то, что забывают о печальной причине моей поездки, о нерадостной миссии, столь непохожей на туризм.

Звонили Анна Андреевна и Марина, эти все понимали и не задавали дурацких вопросов. Как им было не понимать? Хотя мы знали друг друга лишь несколько лет, но мои старшие друзья, немало повидавшие в жизни, стали мне так близки, как будто мы всю жизнь провели вместе. Кроме того, Марина, как и ее муж Натан, должны были непременно кого-либо опекать, и они опекали меня своей любовью. В числе Марининых опекаемых был Игорь (она нас познакомила), который тоже забежал в этот день попрощаться и убедиться, что я действительно еду.

Игорь хорошо знал искусство Индии и Индонезии, писал о нем, но поездку туда ему не разрешали, хотя об этом просил Институт истории искусств, где он работал.

Под таким же запретом жила и пришедшая попозже в этот день моя милая Берта, лучший в Москве знаток музыки и искусства Африки. По-видимому, мы все считались «неблагонадежными». Берта была любимицей Сингха, потому что она одна из всех моих друзей свободно говорила по-английски и еще потому, что у нее был веселый нрав. Она приносила

все московские новости и сплетни, ее раскатистый смех наполнял всю нашу квартиру.

Берта — дочь американского негра и еврейки, приехавших в СССР в 30-е годы и оставшихся здесь навсегда. Она родилась и выросла в Ташкенте, где поселились ее родители. Бюрократический формализм не имеет пределов, и, когда Берта, достигнув совершеннолетия, получала советский паспорт, милиция требовала в графе «национальность» записать «узбечка» или «русская».

«Да посмотрите на меня! — кричала Берта, похожая на своего отца, как две капли воды. — Посмотрите на меня! Какая я узбечка? Какая я русская? Я — негритянка и хочу быть негритянкой!»

Ей сделали уступку ввиду того, что она была единственной в Узбекистане «советской негритянкой» и чемпионкой этой республики по теннису. Но позже этот пункт всегда вызывал вопросы во всех отделах кадров.

Эта веселая, громкая, крупная женщина, не боявшаяся иметь свое мнение и спорить с начальством, ярко одетая и еще ярче украшенная, всегда окруженная оживленными собеседниками, вызывала молчаливые судороги злобы у бесцветных партийных чиновниц института, где она работала. Они не выносили ее смеха, ее черной кожи и красного маникюра и ее незаменимости. Она говорила по-английски и знала африканское искусство, но в Африку ездили они, немые невежды, потому что у них были партийные билеты и рабоче-крестьянские предки. Берте оставалось, как и Игорю, только завидовать моим тридцати дням, в течение которых я смогу если не увидеть мир, то хотя бы выглянуть на него в небольшое окошко.

Берта осталась у нас, чтобы проводить меня ночью на аэродром, и курила сигарету за сигаретой. Погода все ухудшалась, мела метель и было неясно, улетит ли самолет по расписанию.

Потом пришел посол ОАР Мурад Галев со своей очаровательной женой. Они прожили в Москве уже двенадцать лет, их младшая дочь родилась здесь, и в семье все немного говорили по-русски. Это было мое единственное, кроме посла Индии, знакомство в дипломатическом мире Москвы, произошедшее потому, что эти два посла были дружны между собой и оба хорошо относились к покойному Сингху. Мурад и Шушу были свидетелями тяжелой болезни Сингха и всего того, что нам с

ним пришлось пережить. Мурад тревожился и несколько раз повторил мне: «Не задерживайтесь там долго, возвращайтесь скорее! Хотите на обратном пути заехать в Каир? Шушу поехала бы туда, чтобы провести с Вами неделю у нас в доме, Вы бы отдохнули после всего...» — «Нет, как-нибудь в другой раз, Мурад, — сказала я, — сейчас я еду не отдыхать».

У него не было оснований тревожиться о моем возвращении, но Мурад очень хорошо знал, что думают «наверху» о моей поездке, и беспокоился больше о своей репутации и советско-египетской дружбе. Он и Шушу уловили то, что немногие понимали, — крайнюю степень отчаяния, горя и внутреннего озлобления, к которой привела меня смерть Сингха, — состояние, в котором человек способен решиться на все.

Они пытались уговорить меня не ехать на аэродром до тех пор, пока не выяснится точно час отлета из-за погоды. Но я упорно собиралась выехать из дома в 10 часов вечера, чтобы заранее быть в аэропорту и, если нужно, ждать там хоть до утра. Меня начинал охватывать какой-то суеверный страх; мне казалось, что все стихии сговорились против, что-то случится, и самолет не улетит. Нет, нет, я буду ждать только там!

Наконец прибыла сотрудница Министерства Иностранных Дел Кассирова, по настоянию Громыко назначенная мне в качестве «сопровождающего лица». Сколько я ни пыталась объяснить, что мне не нужен переводчик в тесном кругу родственников, сколько ни плакала бедная Кассирова, которой ее миссия казалась бессмысленной, мы должны были обе подчиниться решению правительства. Мою поездку в Индию поставили на широкую государственную ногу, чтобы хоть этим компенсировать грубый запрет нашего брака и чтобы сгладить неприятное впечатление от самого факта смерти Сингха.

Это «сопровождение» приводило меня с самого начала в отчаяние. Трагическая развязка должна была послужить политическим интересам двух правительств. А я-то удивлялась, почему мне так быстро разрешили эту поездку! И все думала, почему бывший посол Т. Н. Кауль, теперь один из секретарей Министерства Иностранных Дел в Дели, уже прислал мне несколько писем? Почему племянник мужа, государственный министр Динеш Сингх, просит отложить приезд до того времени, когда окончится сессия парламента и он сможет сам поехать со мной в деревню? Откуда вдруг такое внимание и заинтересованность — после того, как человек умер? И новый

посол Индии в Москве, Кеваль Сингх, был полон внимания и делал скорбное лицо, входя в мою квартиру.

Государственный интерес наложил на мою поездку, продиктованную — для меня — чисто личными моментами. Впрочем, чему удивляться: вся моя жизнь прошла под прессом «государственного интереса», и сколько я ни пыталась стать человеком, а не «государственной собственностью», мне это так и не удалось.

Но сейчас я меньше всего думала об этих неприятных «наслоениях», меня поглощала лишь мысль, начинавшая и мне самой казаться чудом, что я в самом деле сегодня ночью уеду и через какие-нибудь восемь часов буду в другой стране, что для меня было то же самое, как очутиться на другой планете.

Я была почему-то совершенно уверена, что легко сумею найти общий язык с братом покойного мужа и родственниками, хотя я только раз написала им. Я хотела отдохнуть душой в деревне, о которой столько слышала, посидеть на террасе, откуда виден закат солнца над Гангом. Я знала, что там тишина и покой, что там знал и любил Сингха каждый деревенский мальчишка и что, может быть, там, наконец, я отдохну после ежедневного напряжения последних трех лет. У меня не было и мысли, что я не вернусь домой через месяц. Говоря точнее, у меня не было вообще никаких мыслей о том, что будет через месяц... Я была измучена и опустошена. Мне нужно было только добраться до ровной глади Ганга, увидеть это вечное, спокойное течение, куда возвращается каждый индус. Там — я была в этом уверена — наконец «растают и прольются» мои накопившиеся слезы.

Мне казалось, что моя поездка является неким торжеством справедливости, завершающим для нас обоих эти три года безрезультатной борьбы за элементарные права личности и за человеческое достоинство.

Уже надо было выезжать в Шереметьево, мела метель, дорога могла оказаться плохой. Все еще было неизвестно, вылетает ли самолет по расписанию. Берта и мой сын решили поехать со мной в аэропорт, хотя им пришлось бы вернуться домой поздно ночью. Печальная Кассирова ехала с нами.

Наконец, мои вещи упакованы, и впопыхах я не взяла с собой даже фотографии детей и мамы. Я торопилась, волновалась и плохо соображала, что делаю.

Приехал первый секретарь индийского посольства, чтобы ехать на аэродром с нами. Присутствие официальных лиц лишило меня возможности толком попрощаться с детьми. Я зашла на минуту в свою комнату и постояла немного там...

Здесь Браджеш жил всего полтора года. Было трудно и тяжело, но так хорошо и спокойно быть вместе. Здесь он умер на моих руках полтора месяца тому назад, и потом маленькая урна стояла в этой комнате. Его присутствие здесь не прекратилось. Его участие в моей жизни продолжалось. Вот его очки на ночном столике, перо и бумаги на столе, его книги в шкафу. За полтора месяца прошедших после кремации каждый раз, когда я входила сюда, я чувствовала, что я не одна в комнате. Это было немного жуткое чувство, но одновременно — приятное. Комната не стала пустой и необитаемой. Добрый дух витал в ней, ласкал эти стены и окна мягким взглядом, гладил этот стол и книги слабой, маленькой рукой, потрепавшей меня по щеке за несколько минут до того, как сердце остановилось.

Но доброе сердце никогда не перестанет биться. Маленькая, слабая рука по-прежнему гладит меня по щеке, чтобы ободрить, и ласковая улыбка следит за мной издали, издали...

* * *

В машине молчали, каждый думал о своем. Мне было досадно, что я только наспех поцеловала Катю, стоявшую в дверях ее комнатки. А она была смущена резкой сценой, происшедшей тут же, всех огорчившей, хотя никто не был виноват. Уже когда все были в пальто, Леночка схватила мой саквояж, чтобы помочь мне. Но я испугалась, потому что там внутри была урна (Леночка и не знала), и резко крикнула: «Оставь, не трогай!» Ося подскочил, со злыми глазами, защищать свою ненаглядную. А она обиделась, потому что, в самом деле, так мало оставалось времени, чтобы оказать хоть какую-нибудь услугу друг другу. Все были раздражены и нервны в этот день. Это напряжение не проходило, сын мой сидел мрачный, и только Берта, как всегда, громко говорила и смеялась.

На аэродроме свои порядки. Я надеялась, что перед отъездом, отложенным из-за погоды на час, я посижу спокойно в фойе с Бертой и сыном. Но, как «пассажир, отбывающий за рубеж», я уже была опасной для прочих граждан, а потому меня немедленно отделили от них стеклянной стеной. Нам

осталось только быстренько попрощаться второпях и впопыхах, среди чемоданов и напирających сзади пассажиров.

Я поцеловалась с Осей (его глаза все еще были злыми из-за Леночки), поцеловалась с Бертой, мы бессмысленно сказали друг другу: «Пиши!» — «Напишу!» — и я осталась только с Кассировой, которая теперь была моей тенью и следовала за мною за любые перегородки. Мы оформляли багаж, сдавали советские деньги, выправляли наши паспорта, и только еще раз мне удалось увидеть за стеклянной стеной Берту, уже не смеявшуюся, и Осю, печального и несердитого. Я могла только помахать им рукой, и они махнули мне... Вот и все.

Браджей Сингх в Москве

Лишь восемь часов полета отделяет морозную метель Москвы от теплого Дели, где декабрь равен нашему маю — столько солнца и цветов.

Восемь часов полета оказались для меня роковыми. Эти часы и километры отделили меня от всего, к чему я, казалось, была навеки привязана, прикована, приговорена, — к чему я, казалось, принадлежала всей своей жизнью. Но мы все только полагаем, что чему-то и кому-то принадлежим...

Ночью в самолете я не могла заснуть. Мы летели на восток. Утро наступило здесь на три часа раньше, стало очень быстро светать, гасли звезды на сиреновом небе. Мы летели туда, где вставало солнце и небо все ярче и ярче наливалось золотым светом. Я смотрела на это небо, на розовые от зари хребты и перевалы Гиндукуша под нами и не догадывалась тогда, что эти горы скоро отделят меня от моей прошлой жизни непроходимым рубежом.

Кассирова спала. Ее лицо и во сне выглядело несчастным, а веки были красными от слез. Возле нее стоял чемодан с подарками для ее коллег в посольстве: она везла им буханки ржаного хлеба и московскую копченую колбасу.

Мы летели быстро, и утро несло нам навстречу. Где-то впереди уже встало солнце, но мне было видно только все сильнее разгоравшееся небо, ослепительное на этой высоте. Окно было слева, а между мной и окном стояла драгоценная сумка, и я держала на ней руку.

Ну, вот мы и летим с тобой в Индию, Браджей Сингх. Тебе так хотелось этого, ты это мне обещал — и ты всегда вы-

полнял обещания. Я не одна, мне не страшно впервые оставить город, где прошла вся моя жизнь. Мой паспорт, билет, документы лежат в твоём бумажнике, с которым ты приехал в Москву, — я взяла теперь его себе на память. Вот и солнце наконец! Весь воздух наполнился им, и резче обозначились тени горных хребтов. Мы летим к тебе домой — вместе. Наконец нам это разрешили.

* * *

Мы встретились в Москве в октябре 1963 года, по случайному совпадению очутившись в один день в одной и той же больнице. Ему удалили полипы из носа, а мне миндалины из горла. В коридоре, куда мы выходили из палат, где наши столики для еды стояли рядом, мы несколько дней прогуливались молча, оба в больничных халатах и пижамах, похожих на арестантские. Мне сказали, что этот невысокий седоватый человек, сутулый, в очках, с белыми тампонами ваты в ноздрях — коммунист из Индии, и я незаметно разглядывала его. Он разговаривал по-английски с девушкой из Канады, по-французски с молодым итальянцем, объяснял что-то на пальцах диет-сестре, вежливо и мило улыбаясь. В мою сторону он взглянул раза два без особого интереса: больничная одежда, заматанное шарфом горло и измученный вид вряд ли способствовали большому. Горло нестерпимо болело, я не могла разговаривать.

В те дни хрущёвского либерализма в загородной правительственной больнице в Кунцево можно было увидеть иностранцев со всего света — конечно, только коммунистов или особо выдающихся «борцов за мир во всем мире». Их даже помещали в палаты вместе с советскими гражданами, с которыми они имели возможность общаться без переводчиков и посредников, что в иных условиях почти не происходит. В нашем коридоре можно было видеть приезжих из Италии, Индии, Канады, Индонезии, а молодой человек с лицом малайского типа, говоривший по-французски, оказался с острова Реюньон. Но для меня интереснее всех был, конечно, индеец.

Это было не случайно. Интерес к Индии пробудился в СССР благодаря Джавахарлалу Неру, яркому человеку, выдающемуся политическому деятелю, чей недавний приезд в СССР был огромным событием. В России всегда существовал интерес к индийской философии и культуре. Но Неру за-

ново «открыл» их, и не только своей книгой «Открытие Индии», но, намного сильнее, — своей собственной личностью, соединившей в себе Восток и Запад. И мне была более интересна та Индия, о которой писал Неру, реалистический политик, эстет, живо чувствующий искусство, историк с широким гуманистическим кругозором, но не философ. Мистически-религиозный элемент индийской культуры интересовал меня тогда менее всего. О Рамакришне и Вивекананде я знала мало, и только из книг Ромэн Роллана. Моральное учение раннего буддизма, самая личность Будды, великая подвижническая жизнь Махатмы Ганди, так гармонично соединившего древнюю философию с современной жизнью, были для меня значительнее и интереснее. У меня и в больнице была взята с собой из дома книга Намбудрипада о Ганди, и мне так хотелось узнать, что думает о ней этот индеец. Мне хотелось подойти, заговорить, спросить, но я не решалась. Для меня было еще совсем непривычным говорить по-английски и, вообще, подойти первой к незнакомому человеку, да еще иностранцу, было для меня чем-то сверхъестественным.

Набравшись духу, заготовив английские фразы, я было решилась однажды, увидев, что Сингх идет навстречу мне по коридору. Но он вежливо уступил мне дорогу, сделав шаг в сторону. Я смутилась и молча прошла мимо.

День или два я не решалась попробовать еще раз. В библиотеке я просмотрела, что там было об Индии, — не так-то много, книги Неру и Рабиндранат Тагор. Есть ли здесь «Гитанджали», песни, прочитанные еще в школе? Нет, не могу найти. А что это, что за фраза?

Сегодня сердце мое почему-то раскрылось,
В него вошел мир и обнял меня.

(«Утренние песни»)

Я записала себе эти строки на бумажку и, повторяя их, пошла на наш этаж. Сингх вышел из своей комнаты, когда я была около его двери, и я вдруг перестала бояться.

«Вы, кажется, из Индии?» — обратилась я к нему.

«Да, да!» — улыбнулся он приветливо.

«Тогда можно вас спросить...» — начала я смелея.

И мы сели в коридорчике на диван и проговорили около часа о Ганди, о Неру, о кастах в Индии. Сингх тут же задал мне вопрос: какую организацию я представляю, уже привык-

нужно, что здесь все разговаривают только от лица коллектива. Услышав, что я «сама по себе», он просиял. Наш разговор был прерван обедом, но мы теперь свободно и легко разговаривали, как только встречались в нашем коридоре.

Довольно быстро выяснилось, что хотя Сингх уже 28 лет коммунист (он стал им в Лондоне), но взгляда своего коллеги Намбудрипада о Ганди он не разделяет. Когда я спросила его о книжке, он, засмеявшись, только махнул рукой:

«Намбудрипад — наш левый», — сказал он с безнадежным презрением.

Для самого Сингха коммунизм был лишь идеалом человеческого братства, основанного на принципах гуманизма и справедливости. Пролить чью-либо кровь для достижения идеала он не желал, да и не смог бы. Он верил в путь реформ и мирной, демократической борьбы. В лондонской группе молодых индийцев, ставших коммунистами, никто всерьез не изучал марксистской теории: прочитав несколько популярных брошюр, молодые протестующие энтузиасты «решили стать коммунистами».

Сын богатого раджи, он долго жил потом в Германии, Англии, Франции, Австрии. Он помогал европейским коммунистам где и чем было возможно. Много лет он был близким другом и последователем М. Н. Роя.

В конце 20-х — начале 30-х годов коммунизм был модой во всем мире и привлекал многих. В Индии в те годы только молодые люди из высших каст могли приобщиться к европейскому образованию и к европейским социальным учениям, такова была и лондонская группа. Не марксистская классовая борьба, а борьба за независимость Индии оставалась главным содержанием жизни этой образованной либеральной интеллигенции. После создания независимой Индии они оставались на позициях мирного парламентаризма и все сильнее расходились с левыми внутри своей партии. Из первых же слов Сингха можно было заключить, что ни для какой «великой цели» он не убьет не только человека, но и мухи.

К моему большому удовольствию выяснилось, что мой собеседник не знает, с кем разговаривает. На второй день знакомства он начал задавать вопросы об СССР и спросил меня: «Сильно ли изменилась жизнь в Советском Союзе после смерти Сталина?» Я ответила ему, что, конечно, изменилась, но я думаю, что эти изменения не очень глубоки, не фундаментальны. Затем я сочла нужным наконец представиться.

Сингх посмотрел на меня сквозь толстые стекла своих очков, потом поверх них и сказал только «О!», чудное английское «Oh», у которого может быть столько интонаций. Больше он не сказал ничего; и ни разу — даже потом, когда мы жили вместе, — не задавал мне никаких вопросов о моем отце. Он не принадлежал ни к числу его почитателей, ни к тем, для кого Советский Союз воплощал идеал справедливости на земле. Он хорошо знал Европу, и европейские коммунисты были его друзьями. Социалистические Польша и особенно Югославия были ему намного ближе России. И вообще, он был стар и болен и устал от бесполезного кровопролития на всей земле, от бесплодных внутривластных споров, от пустой борьбы честолюбив. Поэтому он сказал только «О!» и позже произнес что-то философское вроде: «Времена меняются, приходят новые люди и другая политика...» Но все это было для него несущественно. Ему было лишь интересно, что неожиданно он встретил в Москве человека, независимого ни от каких организаций и разговаривающего с ним по-английски и по-человечески. Я была для него человек. Кроме того, он принадлежал к семье, знавшей Ганди, Неру и других известных людей Индии. Он повидал в жизни многое и многих, и его «О!» не было очень удивленным. Так что, лучшего собеседника мне было не найти.

Оставшиеся несколько дней в больнице мы проводили вместе каждую свободную минуту и каждый рассказал другому свою жизнь. Я не могу объяснить, почему у меня было чувство абсолютного доверия к этому незнакомому человеку из другого мира. Не знаю, почему и он верил каждому моему слову.

Обширный мертвый запас английских слов вдруг ожил. Ведь раньше мне не приходилось ни с кем говорить, а сейчас я без труда говорила и понимала все до слова. У Сингха был хороший, чистый английский, с хорошим произношением, полученный от шотландца-воспитателя и преподавателей-англичан колледжа в Лакхнау. Все его манеры и поведение были европейскими. Только мягкое спокойствие да постоянная милая улыбка выдавали традиционное индусское ненасилие и равновесие духа.

В его внешности не было экзотической яркости Востока. Когда он надевал свой берет и шарф, идя на прогулку, то становился похож на пожилого итальянца или на тихого, печального еврея.